
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ТОМАС НИДЕРВАЛЬД
Гусиный клуб
БАНКА С НАДПИСЬЮ ГУСЬ
Роман-сказка в четырёх частях
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ · КНИГА 4 ·
ЛОНДОН · 1867
12+

Томас Нидервальд

Гусиный клуб. Банка с надписью гусь.

«Автор»
2026

Нидервальд Т.

Гусиный клуб. Банка с надписью гусь. / Т. Нидервальд — «Автор», 2026

Декабрь 1867 года. Из гусиного клуба на Боро исчезают шестьдесят две жестяные банки: сбережения бедных семей за целый год, по два пенса в неделю. Казначей пропал, а на Лиденхолле нет ни одного гуся. Четырнадцатилетний Том Пиклз ведёт своё первое дело рядом с инспектором Хаундом. Подозреваемых много, у каждого свои долги, и есть свидетель, которого суд не выслушает: гусак, пешком пришедший в Лондон из Норфолка.

© Нидервальд Т., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Норфолк, ноябрь 5
Часть первая. Два пенса в неделю 8
Глава первая. Банка на полке 9
Глава вторая. По совести-с 12
Интерлюдия. Двенадцать дорог 15
Глава третья. Мистер Гамбл считает 18
Глава четвёртая. Гуси на Олд-Кент-роуд 21
Интерлюдия. Синяя книга 24
Часть вторая. Пропажа 26
Глава пятая. Двадцатое декабря 27
Конец ознакомительного фрагмента. 28

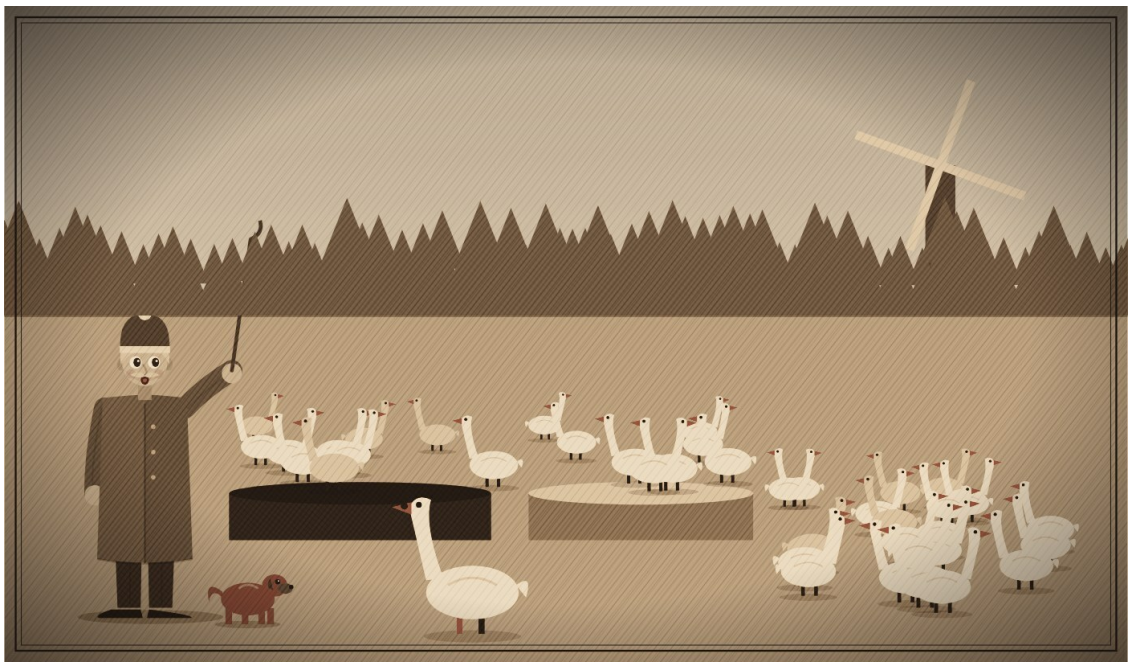
Томас Нидервальд
Гусиный клуб. Банка с надписью гусь.

Пролог. Норфолк, ноябрь

В Норфолке гусей растят так, как в других графствах растят детей: долго, терпеливо и с расчётом на то, что когда-нибудь они уйдут в Лондон.

Это плоская земля — Норфолк. Плоская, как стол, на который ещё не поставили угощение. Поля, луга, болота, ветряные мельницы, низкое серое небо, которое лежит на земле так близко, что, кажется, можно дотянуться рукой. Ветер с моря. Камыш. Церкви с круглыми кремнёвыми башнями. И гуси. На каждом лугу, у каждой фермы, у каждого пруда — гуси. Белые, серые, переваливаясь, гогоча. Их пасут с весны на жнивье, где они подбирают зерно, оставшееся после жатвы, и к осени они становятся толстыми, как пуховые подушки, и тяжёлыми, как мешки с мукой.

А в ноябре их гонят в Лондон.



Выгон под Норвичем: гусей прогоняют через дёготь и песок. Старый Норфолк стоит в стороне.

Так было заведено со времён, которых никто не помнит. Гусей не везли — гусей гнали. Сто с лишним миль по дорогам: из Норвича через Тетфорд, Ньюмаркет, Бишопс-Стортфорд — до самого Лондона. Три недели пути. Гусь идёт медленно: миля в час, восемь — десять миль в день. Идёт, щиплет траву на обочинах, отдыхает ночью на выгонах у постоялых дворов. А чтобы не стёрли лапы о дорогу, перед выходом их прогоняют сначала через корыто с тёплым дёгтем, а потом — через корыто с песком. Дёготь застывает, песок прилипает, и у каждого гуся на лапах получаются чёрные башмачки. Крепкие. До Лондона хватает.

Говорят, отсюда пошла поговорка «подковать гуся» — сделать невозможное. В Норфолке это делают каждую осень.

* * *

Джем Ярроу гонял гусей в Лондон сорок лет.

Он начал мальчишкой, двенадцати лет, — подпаском у старого Ярроу, своего деда, — и с тех пор не пропустил ни одной осени. Ему было шестьдесят. Он был маленький, жилистый, загорелый до черноты, с белыми усами и белыми бровями, торчащими, как камыш. На нём были смазные сапоги — высокие, тяжёлые, пропитанные дёгтем, как гусиные лапы, — и куртка из бурой шерсти, и шапка, связанная женой. В руке — длинная палка из ясеня с железным крючком на конце: зацепить отбившегося гуся за шею и вернуть в стадо. На поясе — фляжка и кошелёк. А у ноги — собака.

Собаку звали Пенни. Рыжая, лохматая, с умными карими глазами и одним висячим ухом. Она стоила, по мнению Джема, больше, чем всё стадо, и уж точно больше, чем сам Джем.

— Пенни знает дорогу, — говорил Джем. — Пенни знает гусей. Пенни знает людей. А я — только дорогу.

В ноябре тысяча восемьсот шестьдесят седьмого года Джем Ярроу собрал в Норвиче самое большое стадо в своей жизни. Девятьсот двенадцать гусей.

Он собирал их по фермам две недели. Это была не его затея. Его наняли.

* * *

Наниматель приехал в Норвич в октябре. Агент из Лондона, в котелке, с портфелем, — сухой, деловитый, с бакенбардами, — и обошёл все фермы в округе. Он скупал гусей. Не по одному, не по десятку — всех. Всех, кого фермеры готовили к Рождеству. По пять шиллингов за голову — на шиллинг больше, чем давали лондонские перекупщики обычно. Фермеры радовались. Агент записывал. Денег, однако, не давал.

— Расчёт — второго января, — говорил он. — После продажи. Мой хозяин — мистер Гарнет Гамбл, Лиденхолл-маркет, Лондон. Человек надёжный. Вот расписка.

Расписки были на хорошей бумаге, с печатью. Фермеры в Норфолке не очень-то умели читать расписки. Но печать им понравилась. И шиллинг сверху — тоже.

Джем Ярроу читать умел. Плохо, но умел. Он прочёл расписку, которую агент дал старому Тому Бакстеру из Уимондема. И поскрёб усы.

— Том, — сказал он. — Тут написано: «по реализации». Это значит — когда продаст. А если не продаст?

— Продаст, — сказал Том Бакстер. — Рождество. Гусей все едят.

— Все, — согласился Джем. — Только тут ещё написано: «по цене не ниже двенадцати шиллингов». Это зачем?

Том Бакстер не знал. Джем Ярроу тоже не знал. Но ему это не понравилось. Он сорок лет гонял гусей в Лондон, и гусь на Лиденхолле никогда не стоил двенадцать шиллингов. Семь. В плохой год — восемь. Двенадцать — это цена за двух гусей.

Он сказал об этом агенту. Агент посмотрел на него, как на гуся, который заговорил.

— Ваше дело — гнать, мистер Ярроу, — сказал агент. — Цена — дело моего хозяина. Двенадцать шиллингов в неделю жалованья, и три недели дороги. Хотите — гоните. Не хотите — найдём другого.

Джем погнал. Двенадцать шиллингов в неделю — это были хорошие деньги. А у Джема была жена, и дочь-вдова с тремя детьми, и крыша, которая текла.

* * *

Стадо выходило из Норвича восемнадцатого ноября.

Утром, на выгоне за городом, гусей прогоняли через дёготь. Это было зрелище, на которое собиралась поглазеть вся округа. Длинное корыто, в котором дымился тёплый дёготь — чёрный, густой, пахнущий смолой и лесом. За ним — второе корыто, с белым речным песком. И девятьсот двенадцать гусей, которых сгоняли к корытам Джем, двое подпасков и Пенни, — гогочущих, хлопающих крыльями, возмущённых, — и они шлёпали по дёгтю, оставляя на нём

следы, и шлёпали по песку, и выходили на траву в чёрных блестящих башмачках, и тут же успокаивались, и начинали щипать траву, как будто ничего не случилось.

Все, кроме одного.

Он стоял в стороне от корыт. Старый белый гусак. Огромный — больше всех в стаде. С чёрным пятном на клюве, похожим на чернильную кляксу. И хромой: левая лапа у него была когда-то сломана и срослась криво, так что он ставил её не прямо, а боком.

Его не гнали к корытам. Его никогда не гнали. Он шёл сам.

Его звали Норфолк.

— Двенадцатый раз идёт, — сказал Джем подпаску, мальчишке лет четырнадцати, который смотрел на гусака с открытым ртом. — Двенадцатый. Ни разу не продали. Старый, жёсткий, хромой — кто такого купит? А он всё равно идёт. Впереди. Он дорогу знает лучше Пенни. Знает, где брод, где выгон, где трактирщик злой и где добрый. Без него стадо разбредётся.

— А почему у него лапа не в дёгте? — спросил мальчик.

— Не даётся, — сказал Джем. — Правую мажем — даёт. Левую — нет. Шипит. Говорит, ему так удобнее.

— Говорит? — переспросил мальчик.

Джем посмотрел на него. Потом на гусака. Гусак стоял в стороне от корыт, на одной здоровой ноге, поджав больную, и смотрел на Джема одним глазом. Чёрным, круглым, старым.

— Это бабкина присказка, — сказал Джем. — Не обращай внимания.

И запел — себе под нос, хрипло, по-норфолкски, как пел каждую осень, выходя из Норвича:

В ночь святую гусь не спит —
С тем, кто слышит, говорит.
Кто продаст его за грош —
Сам и слова не найдёшь.

Мальчик слушал. Гусак слушал тоже. Потом повернулся и захромал к дороге — на юг, на Лондон. Впереди всех.

И стадо пошло за ним.

* * *

Джем Ярроу шёл позади, с палкой, с Пенни у ноги, и думал о двенадцати шиллингах.

Он был человек простой, Джем. Гусиный погонщик. Он не понимал в торговле, в процентах, в расписках и в «реализации». Но он сорок лет ходил в Лондон и знал, что в Лондоне, за Лондонским мостом, в Саутварке, живут люди, которые копят на гуся весь год. По два пенса в неделю. В жестяных банках. Он видел эти банки. Он видел, как хозяйки приходят на Лиденхолл в сочельник, с банкой под мышкой, в праздничном чепце, с лицом, точно идут получать орден. И отсчитывают семь шиллингов. Монетку за монеткой. Медь, медь, медь. И уносят гуся, прижимая к груди, — его гуся, Джема, норфолкского, в чёрных башмачках.

Двенадцать шиллингов эти хозяйки не наберут. Никогда. Ни в одной банке в Саутварке нет двенадцати шиллингов.

Значит, гусей купят только те, у кого есть. А у кого нет — останутся без гуся. На Рождество.

Джем шёл и думал. Гусак Норфолк хромал впереди. Пенни бежала рядом, заглядывая хозяину в лицо.

— Ничего, Пенни, — сказал Джем. — Наше дело — гнать.

Пенни посмотрела на него с сомнением. Она была умнее Джема. Она это знала.

Впереди, за поворотом, лежала дорога на Лондон — сто двенадцать миль, три недели, — и девятьсот двенадцать гусей шли по ней в чёрных башмачках, гогоча, переваливаясь, щипля траву на обочинах. Они шли к Рождеству. Каждый гусь знает, зачем идёт в Лондон. Каждый — кроме одного, старого, хромого, с чёрным пятном на клюве. Он знал больше.

Часть первая. Два пенса в неделю

Чтобы не забывали, зачем мы терпим.

Марта Пиклз

Глава первая. Банка на полке

Жестяная банка с надписью «ГУСЬ» стояла на полке у Пиклзов двадцать один год, и за эти двадцать один год её снимали с полки ровно двадцать один раз — по одному разу в декабре, — не считая тех случаев, о которых в семье предпочитали не говорить.

Таких случаев было семь. Я знаю о них от самой Марты Пиклз, которая рассказала мне о них много лет спустя, когда это уже не было ни стыдно, ни больно, а только немного смешно, как бывает смешно вспоминать старые долги, которые давно отданы. В 1849 году, в холеру, банку открыли в августе — на доктора для маленького Нэда. В 1852-м — в марте, когда Джо сломал руку и три недели не мог работать. В 1855-м — на похороны его матери. В 1858-м — когда сгорела мастерская на Боро, где Джо был подмастерьем, и до новой работы пришлось жить на что-то два месяца. В 1861-м — на башмаки для близнецов, которые выросли из старых одновременно, как всё, что они делали. В 1863-м — на лекарство для Энни, которая родилась слабой. И в 1864-м — в декабре, перед Рождеством, на то, о чём рассказано в первой книге и о чём Марта не рассказала даже мне.

И каждый раз, открыв банку не в декабре, Марта на следующий же день ставила её на полку снова. Пустую. И клала в неё два пенса. И к декабрю, каким-то чудом, о котором не пишут в газетах, — в банке опять было на гуся.

— Она у меня как совесть, — говорила Марта. — Сколько ни бери из неё — к Рождеству опять полная. Если её, конечно, кормить.

* * *

Я обещал в прошлых книгах не повторять того, что уже рассказывал. Но об этой банке, и о том, как в Саутварке копят на гуся, — я должен сказать подробнее. Потому что эта книга — о ней.

Гусь на Лиденхолл-маркет в декабре стоил семь шиллингов. Это — восемьдесят четыре пенса. Чтобы собрать восемьдесят четыре пенса к Рождеству, бедной семье в Саутварке нужно было откладывать по два пенса в неделю — с первой недели января по последнюю неделю ноября. Сорок восемь недель. Девяносто шесть пенсов. Восемь шиллингов. На шиллинг больше, чем стоил гусь. Этот шиллинг шёл на изюм, на коринку, на апельсин для пудинга и на свечку.

Два пенса в неделю — это немного. Это кружка пива. Это кулёк каштанов. Это полфунта хлеба. Это одна поездка на омнибусе.

Но для прачки, которая зарабатывала шиллинг шесть пенсов в день, шесть дней в неделю, — девять шиллингов в неделю, — и которая платила из них четыре шиллинга за комнату, шиллинг четыре пенса за уголь (в мороз — вдвое), три шиллинга за хлеб для восьмерых детей, — для такой прачки два пенса в неделю были решением. Каждую субботу. Сорок восемь суббот подряд. Сорок восемь раз решить, что гусь в декабре важнее, чем кружка пива сегодня, чем кулёк каштанов детям, чем лишний кусок хлеба.

Я не знаю, как это назвать. Экономисты называют это «сбережением». Священники — «добродетелью воздержания». Марта Пиклз называла это «терпеть».

— Чтобы не забывали, — говорила она, глядя на банку, — зачем мы терпим.

И надпись на банке — «ГУСЬ», большими буквами, белой краской, — она нарисовала сама, в 1846 году, через неделю после свадьбы. Чтобы видели все.

* * *

Многие в Саутварке копили не в банку, а в «гусиный клуб».



Рынок Лиденхолл в обычный год: под стеклянной крышей — тысячи гусей по семь шиллингов.

Гусиный клуб — это когда кто-нибудь (обычно трактирщик или лавочник) собирает по два пенса с целой улицы, записывает в книгу, а в декабре покупает гусей оптом и раздаёт. Это удобнее: банку дома можно разбить, потерять, украсть, а нужда, как я уже говорил, выше любой полки, — а деньги, отданные лавочнику, не достать в трудный день, даже если очень хочется. Это как отдать ключ от погреба соседу, чтобы не таскать оттуда до весны.

Но у гусиных клубов была дурная слава.

Каждый декабрь в Лондоне находился трактирщик, который за неделю до Рождества исчезал. Вместе с книгой, гусями, деньгами и, как правило, с барменшей. И вся улица шла смотреть на запертую дверь трактира, как ходят смотреть на пожарище. «Таймс» каждый год печатал заметку об этом — две-три строчки мелким шрифтом, между объявлением о пропавшей собаке и расписанием пароходов. «Гусиный клуб на Уайтчепел-роуд, 47 членов. Казначей скрылся». Лондон читал, качал головой и забывал.

Марта Пиклз в гусиные клубы не верила. Двадцать лет. «Банка никуда не уезжает», — говорила она.

Но в декабре 1867 года она отнесла банку в клуб.

И об этом — вся эта книга.

* * *

Том Пиклз, четырнадцати лет, в ту зиму работал у дяди.

Это была не работа, а, как говорил дядя Тим, учёба. Инспектор Скотленд-Ярда Тимоти Хаунд, брат Марты, сорока одного года, взял племянника к себе «на побегушки» ещё прошлой осенью — отнести бумагу, сбегать за кебом, постоять у двери, послушать, что говорят на улице. Платил шиллинг в неделю из своего кармана. А после истории с Риджентс-парком — после того как Том вытащил из полыньи двоих детей на отцовской лестнице, — дядя Тим стал платить два шиллинга и брать Тома с собой не только «постоять у двери», но и «посмотреть, как я работаю».

— Глаза, Том, — говорил дядя Тим. — Сначала глаза. Потом уши. Потом голова. А рот — в самую последнюю очередь.

Том смотрел. Слушал. Думал. И молчал. Это давалось ему труднее всего, потому что Том Пиклз был мальчик прямой и привык говорить то, что думает. Но он учился.

Ему было четырнадцать. Он вырос за год — вытянулся, как тополь, на полголовы обогнал Кристофера и почти догнал отца. Голос у него ломался — то басил, то давал петуха, и Полли смеялась. Веснушки побледнели. Белая прядь надо лбом осталась. И шрам поперёк правой ладони. И красный шарф, длинный, вязаный, — тот самый, — который прошлой зимой он отдал Тобиасу Куперу и который Тобиас потом принёс назад, выстиранный миссис Лок и заштопанный в трёх местах.

Том носил кепку, как раньше. Но иногда, когда думал, что никто не видит, — пробовал надеть дядин котелок. И смотрел на себя в медный самовар у Дадли. И отворачивался, покраснев.

Он хотел быть сыщиком. Он ещё никому этого не говорил. Даже Кристоферу. Но дядя Тим, кажется, знал.

* * *

А Полли Пиклз в ту зиму было десять лет.

Она не ела сладкого — три года. Она носила красный капор — новый, связанный мамой за три вечера в январе, взамен того, что Полли подарила замёрзшему зазывале на льду Темзы. И она, кажется, стала в семье Пиклзов — и в маленькой компании, которая собиралась вокруг Тома, Кристофера и Тобиаса, — кем-то вроде совести. Не той, что ворчит. А той, что смотрит. Серьёзными голубыми глазами, которые заранее прощали мир за то, что он сейчас скажет что-нибудь не то.

Когда мама в конце ноября сказала, что отнесёт банку мистеру Спратту, — Полли посмотрела на неё именно так.

— Мам, — сказала она. — А банка никуда не уезжает.

— Знаю, — сказала Марта. — Банка не уезжает. А мистер Спратт — тоже не уедет. Он честный. Его весь Саутварк знает девятнадцать лет. А на шиллинг дешевле — это изюм, Полли. Это апельсины. Это тебе новые ленты на капор.

— Мне не надо лент, — сказала Полли.

— Знаю, — сказала Марта и погладила её по голове. — Тебе ничего не надо. Ты у меня такая. А мне — надо. Мне хоть раз в жизни хочется, чтобы на Рождество было и гусь, и изюм, и апельсины, и ленты. Хоть раз. Понимаешь?

Полли понимала. Она ничего не сказала.

Но, когда первого декабря мама сняла банку с полки и понесла её на Боро-Хай-стрит, двумя руками, прижимая к груди, как младенца, — Полли пошла с ней. И стояла рядом в очереди. И смотрела, как маленький тощий человек в очках и нарукавниках пересчитывает мамины монеты и записывает их в книгу в синем переплёте.

И Полли, сама не зная почему, запомнила, какая это была книга. Синяя. С медными уголками. С пятном от чернил на обложке, похожим на гуся.

Глава вторая. По совести-с

Мистер Обадайя Спратт, бакалейщик с Боро-Хай-стрит, был самым честным человеком в Саутварке, и это было его несчастьем.

Не в том смысле, в каком честность бывает несчастьем для людей, которых за неё бьют, — Спратта никто не бил. А в том смысле, в каком несчастьем бывает близорукость для того, кто идёт по краю обрыва. Мистер Спратт был честен настолько, что не мог представить себе, что кто-нибудь другой может быть нечестен. Он видел мир, как видят его дети и святые, — сквозь очки собственной совести, — и всё в этом мире казалось ему таким же честным, как он сам. Он отпускал в долг каждому, кто просил. Он верил каждому слову. Он никогда не пересчитывал сдачу. И каждый год, в конце декабря, он сидел над своими книгами, сводя дебет с кредитом, и удивлялся, почему у него опять убыток.

— По совести-с, — говорил он, разводя руками. — Всё по совести-с. А денег нет.

Ему было пятьдесят пять лет. Он был маленький, тощий, сутулый, похожий на карандаш, который долго точили, — с узкими плечами, длинной шеей и острым носом. Очки в стальной оправе он носил на самом кончике носа и смотрел поверх них — так, что казалось, будто он всё время чему-то удивляется. На нём были чёрный сюртук, вытертый на локтях до блеска, белые нарукавники и холщовый фартук; за ухом — перо, на пальцах — чернила. Он говорил тихо и вежливо, с «-с» на конце каждого второго слова, как говорили приказчики во времена его молодости, — «да-с», «нет-с», «извольте-с», «по совести-с», — и кланялся покупателям так, будто каждый из них был по меньшей мере олдерменом.

Лавка у него была маленькая, тёмная, в два окна, на Боро-Хай-стрит, напротив постоялого двора «Георг», — и торговал он в ней всем, чем торгует бакалейщик: чаем, сахаром, кофе, мукой, крупами, изюмом, свечами, мылом, спичками, табаком, патокой и солью. Чай он брал у Дадли на Истчипе — Хорас Дадли уважал его, хотя и считал, что Спратт разорится к пятидесяти, — и уже пять лет удивлялся, что Спратт не разорился.

Спратт был вдовец. Жена его, Эмили, умерла в 1858 году, от той же холеры, что прошлась по Саутварку в сорок девятом и вернулась в пятьдесят восьмом, как возвращается в свой дом старый жилец. Детей у них не было. Был племянник — сын покойного брата, Лайонел, двадцати четырёх лет, — который жил у Спратта и числился приказчиком. О Лайонеле речь пойдёт позже.

* * *

Гусиный клуб Спратт вёл девятнадцать лет.

Он начал его в 1848 году — при жене, по её просьбе. Эмили Спратт была из Бермондси, из бедной семьи, и знала, что такое копить на гуся в банке. «Обадайя, — сказала она ему однажды, в ноябре, — давай возьмём у соседей по два пенса. Ты честный. Тебе поверят. А то они всё в трактиры несут, к Клеггу, а Клегг — сам знаешь».

Спратт знал. Мистер Клегг, хозяин трактира «Три бочки» на Юнион-стрит, вёл гусиный клуб уже десять лет — и каждый год гуси у Клегга оказывались на фунт легче, чем обещано, а пиво, которое члены клуба по правилам должны были выпить у Клегга на шесть пенсов в неделю «для поддержания клуба», — на четверть разбавленным. Никто не жаловался. Других клубов в округе не было.

Спратт открыл свой. Без пива. Без «поддержания». Два пенса в неделю — и всё. Он завёл книгу в синем переплёте с медными уголками, купленную у переплётчика на Ладгейт-хилле за четыре шиллинга, и записывал в неё каждый взнос. Каждый пенни. С датой и подписью — или крестиком, если хозяйка не умела писать.

В первый год у него было девять членов. Через пять лет — двадцать шесть. Через десять — сорок. В 1867-м — шестьдесят две семьи. Половина из них ушла от Клегга. Клегг не простил.

Каждый декабрь, двадцатого числа, Спратт шёл на Лиденхолл и покупал гусей. По одному. У разных торговцев. Торговался — плохо, неумело, краснея, — и платил по семь шиллингов, а иногда и по семь с половиной, потому что не умел сбить цену. И двадцать третьего раздавал. Каждой хозяйке — гуся и сдачу. Если сдачи не было — доплачивал сам. Из своего кармана. Об этом знала только Эмили. После её смерти — никто.

Девятнадцать лет — ни одной жалобы. Ни одного пропавшего пенни. Ни одного разбавленного гуся.

* * *

В ноябре 1867 года мистер Спратт придумал.

Это была, как он сам потом говорил, единственная деловая мысль, пришедшая ему в голову за пятьдесят пять лет. И она его погубила. Так бывает с честными людьми, которые однажды решают стать умными: ум приходит к ним без привычки, как вино к трезвеннику, и бьёт в голову с первого глотка.

Мысль была такая.

Если покупать гусей по одному, у разных торговцев, — гусь стоит семь шиллингов. А если пойти к оптовику — к тому, кто привозит гусей из Норфолка целыми стадами и продаёт их перекупщикам на Лиденхолле, — и купить у него шестьдесят два гуся разом, — то гусь будет стоить шесть. Оптовая цена. Это знают все торговцы. Спратт узнал об этом в октябре — от Хораса Дадли, который рассказал ему, как покупает чай «ящиками, а не фунтами».

Шиллинг разницы на каждом гусе. Шестьдесят два шиллинга. Три фунта два шиллинга. Это изюм для шестидесяти двух семей. Это апельсины. Это ленты на капоры.

Но для оптовой покупки нужны были деньги сразу. Не двадцатого декабря, когда оптовики уже распродали стада перекупщикам, — а в начале месяца, когда гуси ещё в пути. Задаток. А деньги клуба лежали не у Спратта — Спратт был слишком честен, чтобы держать чужие деньги у себя в лавке, где их мог взять Лайонел, — а у хозяек. В банках. Он записывал взносы в книгу, а монеты хозяйки по-прежнему клали в банки на своих полках — «чтобы видели». Так было заведено с Эмили. Книга — у Спратта, банки — дома.

Поэтому Спратт сказал хозяйкам:

— Дамы-с. Принесите мне банки. Все-с. Первого декабря. Я пойду к оптовику и куплю шестьдесят два гуся по шесть шиллингов. А в сочельник вы их получите-с. Со сдачей. По совести-с.

И хозяйки принесли.

Шестьдесят две банки. Жестяные, глиняные, стеклянные. С надписями и без. «ГУСЬ» — у Пиклзов. «Гусь Смитов» — у Смитов с Тэббард-стрит. «На Рождество» — у вдовы Тёрнер. «Не трогать!!» — с двумя восклицательными знаками — у миссис Мэй, у которой муж пил. «Мамина» — у сирот Хокинсов, которые копили на гуся сами, без матери, умершей весной, потому что она начала копить, и они решили докопить за неё.



Первого декабря у лавки мистера Спратта стояла очередь: шестьдесят две хозяйки с банками.

Спратт пересчитал каждую банку. Записал в синюю книгу. Сложил монеты в большой холщовый мешок, а банки — пустые — вернул хозяйкам. Нет. Это было бы разумно. Это сделал бы умный человек.

Спратт сделал иначе. Он сложил в мешок банки — целиком, с монетами. Потому что хозяйки просили. «Мистер Спратт, отдайте гуся вместе с банкой. Чтобы банка сама гуся принесла». Это было суеверие, конечно. Саутваркское суеверие: банка, в которой копили на гуся, должна вернуться на полку вместе с гусем, иначе на следующий год не накопишь. Спратт уважал суеверия. Он был честен даже с ними.

Шестьдесят две банки. Двадцать фунтов двенадцать шиллингов шесть пенсов.

— По совести-с, — сказал мистер Спратт, завязывая мешок.

И понёс его на Лиденхолл. К мистеру Гарнету Гамблу. К самому крупному оптовику рынка, у которого, как говорили, в этом году будет больше гусей, чем у всех остальных вместе взятых.

Это была правда. У мистера Гамбла в этом году было больше гусей, чем у всех остальных.

Потому что у остальных их не было вовсе.

Интерлюдия. Двенадцать дорог

Норфолк родился весной тысяча восемьсот пятьдесят пятого года на ферме старого Тома Бакстера под Уимондемом, в гнезде под ивой у пруда, и с первого дня всё делал не так, как другие гусята.

Другие гусята, вылупившись, шли за матерью. Норфолк — за матерью тоже, но всегда немного в стороне, на шаг впереди или на шаг сбоку, — как будто проверял, правильно ли она идёт. Другие гусята ели то, что ели все. Норфолк сначала смотрел, что едят другие, а потом шёл туда, где этого не было, — и находил что-нибудь получше. Другие гусята боялись собаки. Норфолк подошёл к собаке, посмотрел на неё одним глазом и зашипел. Собака ушла.

— Этот — вожак, — сказал старый Том Бакстер в первое же лето. — Таких одного на сотню бывает. Его в Лондон не продавать. Его — водить.

Так и вышло.

* * *

Первую дорогу Норфолк прошёл в тысяча восемьсот пятьдесят шестом году. Ему было полтора года. Он был молодой, сильный, белый, без пятна на клюве (пятно появилось потом, от дёгтя, — Джем Ярроу как-то мазал ему лапы и неловко мазнул по клюву, и пятно не сошло) и без хромоты. Джем Ярроу поставил его во главу стада — шестьсот гусей, — и сказал: «Веди». И Норфолк повёл.

Он не знал дороги. Он шёл впервые. Но он шёл так, точно знал. Через Уимондем, Аттлборо, Тетфорд — по старой дороге, по которой гусей гоняли в Лондон шестьсот лет, — и находил броды, где вода была мельче, и выгоны, где трава была гуще, и постоялые дворы, где хозяин не гнал гусей палкой. Джем шёл позади и удивлялся. Пенни — тогдашняя Пенни, мать нынешней, — бежала рядом и тоже удивлялась.

На Олд-Кент-роуд, у поворота на Боро, Норфолк остановился. Посмотрел на Лондон — на дым, на крыши, на купол Святого Павла вдали. Потом повернул налево. К Лиденхоллу. Сам.

На Лиденхолле Джем продал всех. Шестьсот гусей. Кроме Норфолка. Его не продали — Бакстер велел вернуть. Джем повёл его домой. Один. Сто двенадцать миль. Гусь и погонщик. Три недели.

Это была первая дорога.

* * *

Вторую дорогу — в пятьдесят седьмом — Норфолк прошёл так же. И третью. И четвёртую. Каждый ноябрь — в Лондон. Каждый декабрь — домой. С Джемом.

На пятой дороге, в пятьдесят девятом, под Ньюмаркетом, на стадо напали собаки. Чужие. Бродячие. Пять. Они вылетели из перелеска на рассвете, когда гуси ещё спали на выгоне, и бросились в стадо, как волки в овчарню. Гуси кричали, бились, разбегались. Пенни — тогдашняя — дралась с тремя. Джем бежал с палкой.

А Норфолк встал между собаками и стадом. Раскинул крылья. Зашипел.

Самая большая собака — рыжая, со шрамом на морде — прыгнула на него. Норфолк ударил её крылом. Гусиное крыло — это не перо. Это кость и мышцы. Удар крылом ломает руку взрослому человеку. Собака отлетела. Но вторая успела вцепиться ему в ногу.

Левую. Повыше лапы.

Джем отогнал собак палкой. Пенни прогнала остальных. Стадо было цело — все, до последнего гуся. А Норфолк лежал на траве, и левая нога у него была вывернута в сторону, неестественно, как сломанная ветка.

Джем нёс его на руках до самого Лондона. Шестьдесят миль. Две недели. Стадо шло само — без вожака, медленно, сбиваясь, — но шло. Как будто знало, что вожак рядом, на руках у погонщика, и смотрит.

Нога срослась. Криво. Норфолк стал хромать. Навсегда.

С тех пор он не давал мазать левую лапу дёгтем. Шипел. Джем не настаивал.

— Пусть, — сказал он Бакстеру. — Он ей заплатил. Пусть ходит как хочет.

* * *

На седьмой дороге, в шестьдесят первом, Норфолк перевёл стадо через Литтл-Уз в половодье, когда мост у Брэндона снесло, — нашёл брод выше по течению, о котором не знал даже Джем.

На восьмой, в шестьдесят втором, — вывел стадо из тумана под Бишопс-Стортфордом, когда Джем заблудился и три часа ходил кругами, а Пенни сидела и выла.

На девятой, в шестьдесят третьем, — отказался идти через деревню Харлоу. Встал на дороге — и ни с места. Шипел. Джем ругался, гнал его палкой. Норфолк не шёл. Пришлось обходить — лишних пять миль. А через три дня Джем узнал, что в Харлоу в ту неделю была гусиная чума, и на одной ферме пала вся птица.

— Он знал, — сказал Джем жене, когда вернулся. — Он знал, Бетси. Откуда?

— Гуси всё знают, — сказала жена. Она была из Норфолка, из деревенских, и знала то, что знают деревенские. — Только говорят раз в год.

— Когда?

— В сочельник. В полночь. Ты не знал?

Джем знал. Бабка ему пела. «В ночь святую гусь не спит». Но он думал — это песня. Просто песня.

* * *

Каждый сочельник, все двенадцать лет, Джем Ярроу ночевал в Лондоне, на постоялом дворе «Георг» на Боро-Хай-стрит, а Норфолк — во дворе «Георга», в сарае, с соломой. И каждый сочельник Джем, перед тем как пойти к пиву, заходил в сарай, садился на корточки перед гусаком и спрашивал:

— Ну, старик? Скажешь что?

И Норфолк смотрел на него одним глазом. И молчал.

А Джем вставал, хлопал себя по коленям и шёл к пиву. В «Георг». В тепло. К разговорам.

Он никогда не оставался до полуночи. Ни разу за двенадцать лет. Ему не приходило в голову. Это же песня. Бабкина присказка.

А Норфолк каждый сочельник, ровно в полночь, когда колокола Святого Георгия на Боро начинали бить двенадцать, — поднимал голову в пустом сарае и говорил. Тихо. Хрипло. По-норфолкски. Двенадцать раз за двенадцать лет — одно и то же:

— Джем. Ты не дослушал.

И некому было ответить.

* * *

На двенадцатой дороге, в шестьдесят седьмом, Норфолку было двенадцать лет.

Для гуся это много. Гуси живут и до двадцати, если их не едят, — но к двенадцати они становятся тяжёлыми, медленными, жёсткими, седеют по краям крыльев, и глаза у них делаются мутные, как старое стекло. Норфолк поседел. Глаза — нет. Глаза у него остались чёрные, круглые, ясные. И смотрели — так же, как в первый день у пруда под Уимондемом: на шаг вперёд.

Он шёл впереди. Хромал. Каждый день — медленнее. Джем видел. Джем думал: последняя дорога. Следующей осенью — не дойдёт. Пусть хоть эту.

Под Тетфордом, на выгоне у постоялого двора «Белл», в первую ночь пути, Норфолк не спал. Джем видел — проснулся в три часа ночи по нужде и вышел. Гусак стоял у ворот выгона. Один. Стадо спало. А он стоял и смотрел на юг. На Лондон. Хотя Лондона отсюда не было видно — сто миль.

Джем подошёл.

— Ты чего, старик?

Норфолк не обернулся.

— Неспокойно тебе? — сказал Джем. — Мне тоже. Агент этот… «Не ниже двенадцати». Склад. Не нравится мне.

Норфолк повернул голову. Посмотрел на Джема. Одним глазом.

И Джем Ярроу — он потом рассказывал это жене, и она ему поверила, — Джем Ярроу увидел в этом глазу то, чего не видел никогда. Не гусиное. Человеческое. Знание. И жалость. И что-то ещё — то, что бывает в глазах у старых людей, которые знают, что идут последний раз, и знают зачем.

— Ты знаешь, — сказал Джем. — Ты знаешь, куда мы идём. Что там будет.

Норфолк отвернулся. И снова стал смотреть на юг.

А Джем стоял рядом с ним до рассвета. Первый раз за двенадцать лет.

* * *

Через три недели, четырнадцатого декабря, на Олд-Кент-роуд, у поворота на Боро, Норфолк остановился. Как всегда. Посмотрел на Лондон. Как всегда.

И увидел девочку в красном капоре. Маленькую. Серьёзную. Которая смотрела на него — не на стадо, не на гусей, не на погонщика, — на него. Прямо. Как смотрят на человека.

Он кивнул ей.

Он сам не знал почему. Он двенадцать лет не кивал никому, кроме Джема. Но девочка смотрела так, будто слышала. Будто могла услышать.

Таких одного на сотню бывает, говорил старый Том Бакстер. Вожаков. И тех, кто слышит вожаков.

Норфолк повернул налево. Не к Лиденхоллу — к Батлерс-уорф, куда велели. Стадо пошло за ним.

Двенадцатая дорога кончалась на складе. Он это знал. Он знал это с Тетфорда.

Но он знал и другое. Что у этой дороги будет ещё один поворот. Последний. В полночь. Когда кто-нибудь наконец останется и дослушает.

Глава третья. Мистер Гамбл считает

Мистер Гарнет Гамбл любил говорить, что его фамилия — это его программа.

«Гамбл» по-английски значит «игра». Азартная игра. Ставка. Риск. И мистер Гамбл, когда представлялся новым знакомым, всегда добавлял, раскатисто, с хохотом, похлопывая себя по клетчатому жилету: «Гамбл — значит игра, сэр! А игра — значит выигрыш!» И новые знакомые смеялись — потому что мистер Гамбл смеялся так заразительно, так громко, так от души, что не засмеяться было невозможно.

Он был огромный. Не высокий — широкий. Как бочка, поставленная на попа. Круглый, розовый, гладкий, с тройным подбородком, лоснящимися щеками и маленькими весёлыми голубыми глазками, утонувшими в щеках, как изюм в тесте. Он носил клетчатые жилеты — жёлтые с красным, зелёные с оранжевым, такие яркие, что на Лиденхолле говорили, будто по ним можно читать в темноте, — и через живот у него висела толстая золотая цепь от часов, с брелоками: золотой гусь, золотая свинья, золотой бык. Он пах одеколоном, жареным мясом и деньгами — тем особым медным, жирным запахом, который бывает у людей, весь день пересчитывающих монеты.

На Лиденхолле его знали все. И все — по-разному.

Перекупщики, которым он продавал гусей, — уважали и боялись. Мясники, у которых он скупал туши, — ненавидели и кланялись. Мальчишки-носильщики, которые таскали его товар, — получали от него пенни сверх положенного и бегали за ним, как за командиром. Нищие у ворот рынка — получали от него каждую пятницу по шиллингу и кричали ему вслед благословения. Мистер Гамбл любил, чтобы ему кричали вслед благословения. Это было приятно. И стоило всего шиллинг в неделю.

* * *

Он вырос на Смитфилде.

Это был мясной рынок, к северу от Сити, — огромный, грязный, кровавый, где по понедельникам и пятницам продавали скот, пригнанный со всей Англии: быков, овец, свиней, — и где мостовая была скользкой от навоза, а воздух — густым от рёва. Гарнет Гамбл, сын погонщика скота, умершего от пьянства, начал там в восемь лет — подгонять палкой овец. В двенадцать — бегал на побегушках у торговцев. В шестнадцать — сам перепродавал ягнят, купленных утром у одного торговца и проданных вечером другому, на шиллинг дороже. В двадцать — держал свой загон.

В двадцать пять он сделал свой первый «угол».

«Угол» — это слово, которое мистер Гамбл любил больше всех слов на свете, больше даже собственной фамилии. «Загнать в угол» — это значит скупить весь товар на рынке. Весь. До последней овцы. А потом — держать. Не продавать. Ждать, пока на рынке не останется ничего, кроме твоего товара, — и пока покупатели, которым нужно, которым некуда деться, не придут к тебе и не заплатят столько, сколько ты скажешь.

Первый угол Гамбл сделал на ягнятах, весной сорок пятого года. Пасха. Каждая семья в Лондоне, у которой есть хоть шиллинг, хочет на Пасху ягнёнка. Гамбл скупил всех ягнят, пригнанных на Смитфилд за неделю до Пасхи. Занял денег у трёх ростовщиков под двадцать процентов. Держал ягнят в загонах у Клеркенуэлла четыре дня. На Смитфилде ягнят не было. А за два дня до Пасхи Гамбл выпустил их — по двойной цене. И продал всех за полдня.

Он заработал на этом двести фунтов. В двадцать пять лет. Сын пьяницы-погонщика.

С тех пор он делал углы каждый год. На ягнятах к Пасхе. На индейках ко дню Святого Михаила. На свинине к осени. На гусях к Рождеству — это был самый выгодный угол, потому что гусь на Рождество — это не еда. Это святое. Без гуся нет Рождества. Без гуся английская семья скорее продаст стулья, чем сядет за пустой стол. Гамбл это знал. Он сам был англичанин.

Он сам на Рождество ел гуся — всегда, даже в восемь лет, на Смитфилде, когда гуся ему давали из жалости в харчевне, полусырого, с одной ножкой, — и он помнил, как это было важно.

Именно поэтому — потому что помнил, как важно, — он брал за гуся вдвое.

* * *

К сорока семи годам мистер Гарнет Гамбл переехал со Смитфилда на Лиденхолл — рынок почище, птичий, под стеклянной крышей, — и стал самым крупным оптовиком птицы в Сити. У него был склад, контора, четверо приказчиков, двадцать носильщиков, агенты в Норфолке, Саффолке и Эссексе, дом в Клэпеме с садом и оранжереей, жена (полная, весёлая, в шёлковых платьях, которые он ей покупал по три в год), трое детей (два сына в хорошей школе, дочь у фортепьяно) и золотая цепь на животе.

У него были долги.

Об этом не знал никто, кроме него самого и трёх ростовщиков в Сити. Долги — это была плата за углы. Каждый угол требовал денег сразу — скупить всё. А деньги приходили потом — после продажи. И между «сразу» и «потом» мистер Гамбл занимал. Под двадцать процентов. Под тридцать. Под сорок, если угол был большой. И каждый раз — выигрывал. Каждый раз продавал вдвое, расплачивался с ростовщиками, оставлял себе прибыль. Игра — значит выигрыш.

Но долгов от этого не становилось меньше. Потому что каждый следующий угол был больше предыдущего. И требовал больше денег сразу. И мистер Гамбл занимал всё больше. Он был похож на человека, который бежит по льду, который трескается у него за спиной: пока бежишь — держит. Остановишься — провалишься.

В 1866 году он пришёл в банк «Эшфорд и Ко» на Ломбард-стрит. За ссудой. Пятьсот фунтов, под залог дома в Клэпеме. На угол с индейками.

Мистер Мортимер Эшфорд принял его лично. Выслушал. Посмотрел бумаги. Посмотрел на клетчатый жилет. Посмотрел на золотую цепь с брелоками.

И сказал:

— Нет, мистер Гамбл.

— Почему? — Гамбл был изумлён. Ему никогда не отказывали. — Залог — хороший. Проценты — какие скажете. Я всегда плачу. Спросите на Лиденхолле.

— Я спрашивал, — сказал мистер Эшфорд. — Вы всегда платите. Это правда. — Он сложил бумаги и отдал их Гамблу. — Но ваши проценты, мистер Гамбл, — это чужие гуси. Чужие ягнята. Чужие индейки. Вы платите мне тем, что берёте у людей, которым нужно на Пасху ягнёнка, а на Рождество — гуся. Я тридцать лет брал такие проценты. Не с гусей — с других вещей. Я больше не беру. — Он помолчал. — Прошу прощения.

Гамбл ушёл, не сказав ни слова. Он не понял. Он решил, что старый Эшфорд выжил из ума — об этом уже год говорили в Сити: самый скупой банкир Лондона ходит в красном шарфе, топит пять каминов, раздаёт свечи нищим и усыновил двоих сирот из приюта. Гамбл пожал плечами и пошёл к ростовщикам. Под сорок процентов.

Но отказ он запомнил.

* * *

В октябре 1867 года мистер Гарнет Гамбл задумал самый большой угол в своей жизни.

Он сидел в своей конторе на Лиденхолле — маленькой, жаркой, с камином и с медными весами в углу, на которых он когда-то, двадцать лет назад, взвесил своего первого гуся, — и считал. Он всегда считал сам. Он не доверял приказчикам. Приказчики могли ошибиться. А цифры — не ошибались.

Гусей, которых к Рождеству пригоняют в Лондон из Норфолка, — около двух тысяч. Ещё тысяча — из Саффолка и Эссекса. Ещё столько же — из окрестностей Лондона. Итого — четыре тысячи. Покупают гусей на Рождество в Лондоне — двести тысяч семей. Но у ста девяноста тысяч из них — свои поставщики, свои мясники, свои рынки в своих районах. А на

Лиденхолле, в Сити, — для Сити, для Ист-Энда, для Саутварка, для всех, кто беден и покупает гуся раз в год, — продаётся примерно три тысячи гусей.

Если скупить норфолкских — а норфолкские лучшие, и идут они первыми, и их ждут, — то это треть. Треть Лиденхолла. Остальные две трети — у перекупщиков, которые покупают гусей у Гамбла же и у его конкурентов. А если конкуренты не получат норфолкских, потому что их скупил Гамбл, — то у них будет вдвое меньше товара. И цена поднимется. На всё. А когда цена поднимется везде — Гамбл выпустит своих. По своей цене. По двенадцать.

Девятьсот двенадцать гусей по двенадцать шиллингов — это пятьсот сорок семь фунтов.

Девятьсот двенадцать гусей по пять шиллингов (по столько он купит их у норфолкских фермеров) — это двести двадцать восемь фунтов.

Разница — триста девятнадцать фунтов. Минус погонщик, минус склад, минус корм, минус приказчики — триста фунтов чистыми.

Триста фунтов — это все его долги ростовщикам. Разом. Всё.

Мистер Гамбл откинулся в кресле. Он был доволен. Он посмотрел на медные весы в углу. Весы были пустые. Обе чашки висели ровно, неподвижно, начищенные до блеска.

В левой чашке, как в зеркале, отражался он сам. Розовый. Круглый. В клетчатом жилете. Довольный.

В правой — тоже он. Но другой. Серый. Пустой. Лёгкий. Как мешок, из которого вытряхнули всё содержимое.

Мистер Гамбл моргнул. Посмотрел снова. В правой чашке отражался он — розовый, круглый, в жилете. Как в левой. Обычный.

— Свет, — сказал мистер Гамбл вслух. — Свет от камина.

И взял перо, и написал своему агенту в Норвич письмо: «Скупайте всех. По пять шиллингов. Расчёт — по реализации, не ниже двенадцати. Погонщика найдите надёжного. Г. Г.».

Это была ставка. Игра. А игра — значит выигрыш.

Он запечатал письмо сургучом. Сургуч был красный, как гусиная лапа без дёгтя.

Глава четвёртая. Гуси на Олд-Кент-роуд

Девятьсот двенадцать гусей вошли в Лондон четырнадцатого декабря, в субботу, в два часа пополудни, по Олд-Кент-роуд, — и Лондон остановился, чтобы на них посмотреть.

Олд-Кент-роуд — старая римская дорога, по которой в Лондон две тысячи лет входили все, кто шёл с юго-востока: легионеры, паломники в Кентербери, короли, бунтовщики, торговцы, нищие и гуси. Она широкая, прямая, мощённая булыжником, с домами по обе стороны — кирпичными, закопчёнными, с лавками в нижних этажах. По ней всегда кто-нибудь ехал: омнибусы, кебы, телеги с углём, ломовые фуры с пивными бочками, двуколки зеленщиков. В субботу днём — особенно.

А четырнадцатого декабря по ней шли гуси.

Они заняли всю дорогу. От края до края, от тротуара до тротуара, — белая, серая, гогочущая, переваливающаяся река. Омнибусы стояли. Кебы стояли. Телеги стояли. Возчики ругались, кондукторы свистели, лошади фыркали и прядали ушами. А гуси шли. Медленно. Невозмутимо. В чёрных башмачках из дёгтя и песка, которые за три недели пути стёрлись наполовину, — и поэтому шли гуси осторожно, как дамы на высоких каблуках по скользкому тротуару.



Девятьсот двенадцать гусей вошли в Лондон по Олд-Кент-роуд. Позади всех хромал Норфолк.

Люди выбегали из лавок. Высовывались из окон. Дети бежали за стадом, хлопая в ладоши. Мальчишки-газетчики кричали: «Гуси! Гуси идут! Норфолкские!» Торговка рыбой с Нью-Кросс выронила корзину. Священник у церкви Святого Иакова снял шляпу. Констебль на перекрёстке с Тауэр-Бридж-роуд — тогда ещё не было Тауэрского моста, и дорога называлась иначе, но я называю её так, как её назовут потом, — констебль поднял руку, останавливая движение, и простоял так двадцать минут, пока не прошло всё стадо. Он потом говорил, что это была самая почётная обязанность за всю его службу.

Впереди стада, хромая, шёл огромный белый гусак с чёрным пятном на клюве. Он не смотрел по сторонам. Он смотрел вперёд. Он знал дорогу.

Позади, с палкой с крючком, в смазных сапогах, с рыжей собакой у ноги, шёл маленький загорелый человек с белыми усами. Он пел. Хрипло, по-норфолкски. Одну и ту же песню.

* * *

Тобиас Купер и Полли Пиклз увидели стадо у поворота на Боро, на углу Грейт-Довер-стрит.

Они шли на Лиденхолл — Тобиас нёс бондарю Локу обручи из мастерской на Боро, где их гнули, а Полли шла с ним просто так, потому что в субботу ей было нечего делать, а Тобиас был друг. Они вышли на Олд-Кент-роуд — и остановились. И смотрели. Долго. Пока не прошло всё стадо.

Тобиасу было тринадцать. Он вырос за год, как вырастают все мальчишки в этом возрасте, — внезапно и неравномерно: руки длинные, ноги длинные, шея длинная, а всё остальное ещё не догнало. Кожаный фартук, который год назад был ему до пят, теперь был до колен. Обруч — тот самый, железный, ржавый, бракованный, который прошлой зимой он отдал зазывале на льду Темзы и который прикатился к нему назад сам, — висел у него за спиной на ремне, как щит у рыцаря. Он больше не катал его по улицам. Он стал слишком взрослым для этого. Но носил. Всегда.

После той зимы, после льда, после тени, которую он потерял и которая вернулась, — Тобиас изменился. Он стал серьёзнее. Тише. Он по-прежнему мерил всё бочками — «гусей — бочек двести, если в бочку по пять», — но говорил это теперь не для смеха, а точно проверял, правильно ли устроен мир. И он стал смотреть под ноги. На тени. Свою и чужие. Всегда. Он не мог ничего с этим поделать.

На Олд-Кент-роуд в тот день было пасмурно, и теней не было ни у кого. Тобиас всё равно смотрел.

— Это кто? — спросила Полли, когда мимо прохромал старый гусак.

Погонщик услышал. Он остановился — стадо прошло вперёд, и рыжая собака побежала за ним, подгоняя отставших, — и посмотрел на Полли. Потом на Тобиаса. Потом снова на Полли. Долго. Внимательно. Как смотрят деревенские старики на городских детей: с жалостью и с любопытством.

— Это Норфолк, — сказал он. — Вожак. Двенадцатый раз в Лондон идёт. Хромает, а идёт. Его никто не покупает: старый, жёсткий. А он всё равно идёт. Говорит, без него стадо заблудится.

— Говорит? — спросил Тобиас.

Погонщик почесал усы. Посмотрел на гусака, который ковылял впереди стада, не оборачиваясь.

— Бабкина присказка, — сказал он. — Я Джем Ярроу. А это Пенни, собака. Она тоже в сочельник говорит. Только ругается всё больше.

И запел — хрипло, по-норфолкски, глядя не на детей, а на гусака:

В ночь святую гусь не спит —
С тем, кто слышит, говорит.
Кто продаст его за грош —
Сам и слова не найдёшь.

Полли слушала. Тобиас — тоже. Когда Джем допел, Полли спросила:

— А куда вы их гоните, мистер Ярроу? На Лиденхолл?

Джем помолчал.

— Не на Лиденхолл, мисс, — сказал он. — Мне велели — к Батлерс-уорф. Там склад. Хозяин велел — на склад. Не на рынок.

— Почему? — спросил Тобиас.

— Не знаю, юноша, — сказал Джем. — Моё дело — гнать.

Он махнул палкой и пошёл догонять стадо. Пенни ждала его у поворота.

Тобиас и Полли посмотрели друг на друга.

— Склад, — сказал Тобиас. — Гусей — на склад. За неделю до Рождества.

— А мама говорит, гусей двадцатого покупают, — сказала Полли. — На Лиденхолле. Свежих.

Тобиас ничего не ответил. Он смотрел вслед стаду. Белая река гусей поворачивала с Олд-Кент-роуд направо — не к Лондонскому мосту, не к Сити, не к Лиденхоллу, — а на восток, к реке, к Бермондси, к складам у пристаней, где стоят большие кирпичные пакгаузы с железными дверями и с крюками для подъёма товара под крышей.

Позади всех, хромая, шёл Норфолк. На повороте он остановился. Обернулся. И посмотрел на Полли — одним глазом. Чёрным. Круглым. Старым.

Полли потом говорила, что он кивнул ей. Тобиас сказал, что гуси не кивают. Полли сказала, что этот кивнул.

* * *

Вечером того же дня Джем Ярроу загнал стадо на склад у Батлерс-уорф.

Склад был огромный — бывший пакгауз Ост-Индской компании, пустовавший с тех пор, как компанию распустили, — четыре этажа, кирпичные стены в ярд толщиной, железные двери, решётки на окнах. Мистер Гамбл снял его в октябре. Нижний этаж застелили соломой. Поставили корыта с водой. Насыпали зерна.

Девятьсот двенадцать гусей вошли в склад, гогоча, и разбрелись по соломе.

Агент мистера Гамбла — тот самый, в котелке, с бакенбардами — стоял у двери со списком и пересчитывал.

— Девятьсот двенадцать, — сказал он наконец. — Всё сходится. Мистер Ярроу, вот ваше жалованье. Три недели по двенадцать шиллингов — тридцать шесть. И пять сверху — за то, что все дошли. Хозяин доволен.

Джем взял деньги. Пересчитал. Сунул в кошелёк.

— Когда на рынок? — спросил он.

— После Нового года, — сказал агент.

Джем посмотрел на него.

— После Нового года, — повторил он. — Гусей к Рождеству гнали, а продавать — после Нового года?

— Это не ваше дело, мистер Ярроу.

— Не моё, — согласился Джем. — Моё дело — гнать. Я их пригнал. — Он помолчал. — А только гусей, сэр, на Рождество ждут. Их весь год ждут. В банках. По два пенса.

Агент ничего не ответил. Он закрыл железную дверь склада и запер её на большой замок. Ключ положил в карман.

Джем Ярроу постоял у двери. Из-за неё доносился гогот — сотни голосов, — приглушённый, как шум моря в раковине.

Потом он свистнул Пенни и пошёл к постоялому двору «Георг» на Боро-Хай-стрит, где всегда останавливался. Шёл не спеша. Думал.

Напротив «Георга», через улицу, была маленькая бакалейная лавка в два окна. В одном окне горела свеча. Джем видел, как за стеклом маленький тощий человек в очках сидит над толстой книгой в синем переплёте и что-то пишет. Медленно. Аккуратно. Как пишут люди, для которых каждая цифра — это обещание.

Джем не знал, кто это. Он не знал, что этот человек две недели назад отнёс мистеру Гамблу шестьдесят две банки с деньгами на гусей.

Если бы знал — может быть, всё было бы по-другому. А может, и нет. Джем был погонщик. Его дело было — гнать.

Интерлюдия. Синяя книга

Книга гусиного клуба мистера Обадайи Спратта была в синем переплёте, с медными уголками, с пятном от чернил на обложке, похожим на гуся, и в ней было девятнадцать лет.

Девятнадцать лет — это не цифра. Это девятнадцать декабрей. Девятнадцать январей, когда книгу открывали на новой странице и писали сверху год. Тысяча сто тридцать шесть суббот. И на каждой странице — столбик фамилий, столбик дат и столбик монет, и рядом с каждой монетой — подпись или крестик.

Я видел эту книгу. Она сохранилась. Её отдал мне много лет спустя сам мистер Спратт — уже старый, уже не бакалейщик, — и сказал: «Вот, возьмите. Тут всё. По совести-с». Я перелистал её всю. И я выпишу отсюда несколько строк — не для того, чтобы показать, сколько денег было у бедняков Саутварка (их было мало), а для того, чтобы показать, кем они были. Потому что за каждыми двумя пенсами в этой книге стоял человек. И мистер Спратт знал их всех.

* * *

«Пиклз, Марта. Тэннери-корт, 3. Прачка. С 1850 г.».

Рядом, на полях, мелко, рукой Спратта: «Не пропускает. Даже в 1855 (похороны свекрови). Принесла 2 п. в день похорон. Я сказал: не надо, Марта. Она сказала: надо, мистер Спратт, а то потом не соберусь».

Ниже, другой год: «1864. Пропустила три недели в декабре. Принесла 6 п. разом 31-го. Сказала: «Была беда. Теперь нет». Не спрашивал».

* * *

«Мэй, Энни. Кросс-стрит, 11. Шьёт перчатки. Муж — Мэй, Джордж, ломовой извозчик, пьёт».

На полях: «Банка с надписью «Не трогать!!». Два восклицательных знака — от мужа. Он трогает. Приходит каждый декабрь, просит у меня в долг «до гуся». Даю. Потом она отдаёт из банки. Каждый год. Не говорю ей. Она знает».

Ниже: «1866. Мэй, Джордж, умер в октябре. Под колёсами своей же фуры. Пьяный. Она принесла взнос в день похорон. Как Марта. Банка — та же. «Не трогать!!». Теперь некому трогать».

* * *

«Хокинс, Дэниел, Сьюзан и Томми. Сироты. Минт-стрит, подвал. Мать — Хокинс, Ханна, вдова, умерла в апреле 1867 (горячка)».

На полях: «Ханна копила с января. Двенадцать недель. Два шиллинга. Умерла. Дети пришли в мае. Дэниел, 12, — старший. Сказал: «Мама начала, мы докопим». Банку принесли — мамина, глиняная, с отбитой ручкой. Надпись — «Мамина». Сами написали. С ошибкой: «Маммина». Не поправлял».

И ниже, другими чернилами: «Дэниел работает на верёвочной фабрике в Бермондси. 3 шилл. в неделю. Сьюзан, 9, — у прачки. 1 шилл. Томми, 6, — дома. Платят 2 п. каждую субботу. Ни разу не пропустили. В ноябре Дэниел принёс 4 п. — за две недели. Сказал: прошлую неделю Томми болел, на лекарство ушло. Я сказал: не надо за прошлую. Он сказал: надо, мистер Спратт. Мама бы принесла».

* * *

«Тёрнер, Агнес, вдова. Тэббард-стрит. Торгует цветами у Лондонского моста. С 1849».

На полях: «Самая старая в клубе. 71 год. Приходит с палкой. Банка — «На Рождество». Говорит: каждый год думаю, что последний. Каждый год приходит».

Ниже: «1867. Пришла в ноябре. Сказала: «Мистер Спратт, если я в этом году не доживу — отдайте гуся Хокинсам. Сиротам. Пусть у них будет два». Записал. По совести-с».

* * *

«Смит, Уильям и Мэри. Тэббард-стрит, 4. Он — докер. Она — дома. 7 детей».

На полях: «Самая большая семья в клубе. Гусь на девятерых — мало. Каждый год прошу у торговцев гуся побольше. Платят вдвое: 4 п. в неделю. Банка — «Гусь Смитов». Дети Смитов по субботам приходят ко мне в лавку и считают, сколько недель осталось. В этом году старшая, Мэгги, 10, нарисовала на банке гуся. Похож».

* * *

И так далее. Шестьдесят две фамилии. Шестьдесят две банки. Шестьдесят две истории.

Мистер Спратт знал их все. Он знал, у кого муж пьёт, у кого дети болеют, у кого крыша течёт, кто в этом году пропустил неделю и почему. Он записывал это на полях — мелко, аккуратно, рядом с цифрами, — не для отчётности, а для себя. Чтобы помнить. Он был бакалейщик, а не гробовщик, как его сосед через три улицы мистер Грэйвз, который тоже вёл тетради. Но он понимал Грэйвза. Он тоже не мог вынести, что от людей остаются только цифры.

* * *

На последней заполненной странице книги, под датой «1 декабря 1867», стоял итог:

«Принято банок — 62. Итого монетой — 20 ф. 12 ш. 6 п. Передано мистеру Г. Гамблу, Лиденхолл, в задаток за 62 гуся по 6 ш. Расписка получена. Гуси — 20 декабря. По совести-с. О. С.».

И ниже — другими чернилами, другим, дрожащим почерком, без даты:

«Расписки — нет. Он сказал: потом. Я поверил».

И ещё ниже — совсем мелко, почти неразборчиво, с кляксой:

«Господи, прости меня. Шестьдесят две банки. «Маммина». «Не трогать!!». «Гусь Смитов». Что я им скажу».

Больше в книге ничего не было.

Часть вторая. Пропажа

Все честные, пока банки не держат.

говорили на Боро-Хай-стрит

Глава пятая. Двадцатое декабря

Двадцатого декабря тысяча восемьсот шестьдесят седьмого года, в пятницу, в восемь часов утра, лавка мистера Обадайи Спратта на Боро-Хай-стрит не открылась.

Это заметили не сразу. Лавка открывалась в восемь, но первые покупатели приходили к половине девятого — служанки за чаем для хозяев, рабочие за табаком, — и до половины девятого никто не смотрел на ставни. А в половине девятого служанка вдовы Хартли с Юнион-стрит подошла к двери, толкнула её — и дверь не поддалась. Служанка постучала. Никто не ответил. Служанка заглянула в окно — ставни были закрыты. Изнутри. На двери висел замок — снаружи. Большой, амбарный.

Служанка ушла за чаем к Клеггу. Клегг, хозяин трактира «Три бочки», торговал из-под полы и чаем тоже — втридорога, но что делать.

К девяти у лавки стояли пятеро. К десяти — двадцать. К полудню — толпа.

Шестьдесят две хозяйки. Они пришли не за чаем. Они пришли за гусями. Двадцатое декабря — день, когда мистер Спратт всегда, девятнадцать лет подряд, шёл на Лиденхолл. А в этом году он обещал не просто гусей — гусей по шесть шиллингов, со сдачей, в банках. И вот — двадцатое. И ставни закрыты. И замок на двери.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.